

Оглавление

Введение	7
1. Будущее позади вас.....	23
2. Повернитесь на запад.....	57
3. Кто ваш брат?	93
4. Небо <i>зелубое</i>	122
5. Пустынный лед.....	164
6. Зримая речь.....	198
7. Носовое начало «носа».....	224
8. Без ума от чего?	256
Заключение	281
Благодарности	290
Примечания	292
Предметно-именной указатель	311



Введение

Ледяные порывы ветра на много градусов ниже нуля и, судя по гримасам прохожих, неприятны даже по меркам манхэттенцев. Я укрываюсь в крохотной, как шкаф, кофейне у подножья неприветливого каньона, который именуется Восьмой авеню. Город как будто захвачен врасплох суровой январской метелью; снег скапливается на обочинах дороги, по которой ползет утренняя вереница машин, едущих в офисы. С капучино в руке, ощущая, как щеки вновь обретают чувствительность, я нахожу, что вид из окна становится сказочным. Но сказка вскоре исчезает из-за происходящего на углу Восьмой авеню и 42-й улицей, где у серебристой Toyota Prius возникли проблемы — она буксует в снегу, пытаюсь повернуть направо. Передние колеса крутятся вхолостую, на перекрестке скапливаются машины, они отчаянно гудят, хотя водитель гибрида явно ничего

поделать не в силах. Проходит не меньше минуты, прежде чем колеса машины обретают сцепление с поверхностью, пробившись сквозь слои снега и достигнув асфальта. Хетчбэк скользит дальше, направляясь в спальные районы среди потока нетерпеливых водителей и пассажиров.

Мне приходит в голову вопрос: можно ли назвать снегом то, в чем увязла машина? Выбор слова кажется не совсем подходящим. Более точным представляется «давленный снег», потому что просто «снег» — это неточно или как минимум недостаточно. «Слежавшийся снег»? Это не снег с дождем, поскольку падал в виде снежинок, а не ледяных шариков. Я чувствую себя языковым инвалидом, пытаюсь найти более подходящее слово. Это безусловно сорт снега, но все доступные описания ощущаются как семантически неточные. Колеса машины застряли в «снежном льду», или «льдистом снегу», или в «снежной каше». Все эти выражения, приходящие на ум, ощущаются как нечто кустарное и не вполне общепринятое, и большинство из них составные — «снег» определяет или определяется другим словом.

И тут мне в голову приходит географическое совпадение. Я нахожусь всего в нескольких километрах от бывшего рабочего места Франца Боаса, который считается основателем американской антропологии и автором идеи о том, что «в некоторых языках существует много обозначений снега». Боас был профессором Колумбийского университета и первым ученым, предположившим, что английская снежная терминология относительно бедна. В 1911 г. он обнаружил, что в инуитских языках существуют как минимум четыре различных базовых обозначения, которые все переводятся английским словом *snow* и смежными дескрипторами. Там есть слово *qana* «падающий снег»; *piqsirpoq* «поземка»; *qituiqsuq* «снежный занос»; и *arut* «снег, лежащий на земле». Преувеличения росли по экспоненте, и в конечном итоге открытие Боаса повлекло за собой популярное

(пусть и не среди ученых) представление о том, что у эскимосов десятки и чуть ли не сотни слов для обозначения снега. Подобные утверждения повторяются в *The New York Times* и прочей прессе. Как отмечалось в вышедшем еще десятилетия назад юмористическом эссе лингвиста Джеффри Пуллума, многие заявления, связанные с темой «обозначения снега», были до смешного неточными. Неточность, однако, не подразумевает, что языки не несут неожиданных и глубоких различий в плане того, как они описывают определенные физические явления. Масштаб этих различий, вероятно, кое-где упускался из виду именно из-за подобных преувеличенных утверждений, как в случае с эскимосским снегом, — утверждений, которые было легко опровергнуть. Как мы убедимся в этой книге, в изучении языков мира периодически всплывает аналогичная склонность отмахиваться от языкового разнообразия. Если оставить в стороне этот более масштабный вопрос, очевидно, что с тех пор нет недостатка в дебатах и толкованиях вокруг преувеличений, связанных с присутствием в некоторых языках бесконечного множества обозначений снега. Бóльшая часть этих дебатов упускает из виду простой ключевой момент, иллюстрируемый примером Боаса: языки обычно отражают среду, в которой они развиваются. Народы Гренландии, скорее всего, будут говорить о разных видах снега, так как они часто сталкиваются с разным снегом и, соответственно, должны координировать свое поведение и действия вокруг него. Напротив, группа аборигенов в Австралии может быть совсем незнакома со снегом и не нуждаться в базовых словах для его обозначения, а тем более обозначения его разновидностей. Сюжет с «обозначениями снега» в основе своей — всего лишь простая иллюстрация того факта, что на языки влияют специфические социальные потребности и среда обитания их носителей. Языки мира невероятно разнообразны отчасти в силу разнообразия физических

и социальных сред, в которых живут люди. В этой книге я рассмотрю некоторые ключевые результаты исследований языкового и культурного разнообразия, представлю новые данные о том, как люди общаются и мыслят. Цель этой работы — показать особенно актуальные направления исследований, которые проводятся психологами, лингвистами, антропологами и другими специалистами. Эти исследования меняют наши представления о человеческой речи и связанных с ней мышлении и поведении¹.

Мировое языковое разнообразие крайне велико и, насколько я могу судить по своему опыту, большинством людей недооценивается. Например, когда я читаю вводный курс по антропологической лингвистике в своем университете, на первой в семестре лекции я часто прошу студентов назвать столько языков, сколько они смогут вспомнить. Группа из 50 студентов с трудом называет более нескольких десятков языков. Они обычно упоминают латынь, клингонский или еще какой-нибудь язык сомнительной квалификации. Отдельным студентам порой сложно назвать даже 20 языков. (Я говорю это не ради критики, так как большинству умных и начитанных людей это задание дается нелегко — попробуйте сами, если есть желание.) Однако, по большинству подсчетов, на сегодняшний день в мире существует более 7000 языков. Более того, бóльшая часть языков, приходящих на ум студентам, — европейского происхождения и близкородственные. Не считая нескольких часто называемых языков типа китайского и арабского, те языки, которые называют чаще всего, — немецкий, испанский, французский, итальянский и даже латынь — представляют лишь одну из примерно 350 языковых семей мира. Эти языки, упоминаемые чаще других, восходят к одному языку, протоиндоевропейскому, на котором говорили в Причерноморье около 6000 лет назад. Одним словом, представления большинства студентов о языковом

разнообразии сформированы их обширными контактами с малой долей языков, существующих ныне в мире. И эта доля отражает лишь один из тысяч языков-предков, на которых, вероятно, говорили тысячелетия назад, когда значение протоиндоевропейского стало возрастать².

Этот перекокс характерен не только для студентов. Языки европейского происхождения веками получали избыточное внимание со стороны западных ученых. Такая общепринятая фиксация имеет отчетливые и понятные исторические корни, но, поскольку она способствовала формированию многих теорий языка, немало когнитивистов справедливо считают ее сомнительной. Даже в XX в., когда ученые уже осознавали, что на земном шаре существует огромное множество языков, лингвистические теории в значительной мере основывались на нашем понимании европейских языков, таких как английский, то есть языков, на которых теоретики говорили сами. В некоторых кругах этот теоретический перекокс сохраняется и в наши дни. Он внес свой вклад в злополучную тенденцию считать языки в целом похожими друг на друга, так как многие индоевропейские языки действительно близки между собой в силу как своего родства, так и частого взаимодействия их носителей. Из-за такого узкого взгляда распространилось некогда популярное мнение, что языки демонстрируют лишь поверхностные различия, скрывающие глубинное сходство или даже «универсальную грамматику». Универсалистский подход уже теряет свое влияние в науках о языке, судя по самым цитируемым в наши дни исследованиям, и я предполагаю, причина, почему так происходит, проста. Как только лингвисты по-настоящему расширили рамки своих исследований, чтобы пристальнее изучить языки мира, они обнаружили, что эти языки гораздо разнообразнее, чем постулировали многие теории. Если бы биологи рассматривали преимущественно несколько родственных видов

в одной экосистеме, лишь время от времени обращаясь к другим видам, они, скорее всего, недооценили бы мировой масштаб биоразнообразия. К счастью, в языкознании произошел радикальный сдвиг, который все еще длится, наряду с параллельным сдвигом в изучении человеческого мышления и поведения. Эти сдвиги привели к тому, что специалисты сосредоточились не на гипотетических универсальных чертах, проявляющихся во всех языках, а на важных различиях языков — и на том, что эти различия могут сказать нам о людях в более широком плане. Например, новое исследование коллектива известных ученых, широко распространившееся в социальных сетях в конце 2022 г., рассматривает то, как избыточная склонность опираться на английский во многих отношениях ограничивает наше понимание не только языков, но и человеческого мышления. Авторы этого исследования отмечают, что признание огромного языкового и когнитивного разнообразия *Homo sapiens* важно для более глубокого понимания нашего вида. Это разнообразие — в центре истории, которую расскажет моя книга, хотя неуловимые и вездесущие тенденции в языках мира тоже служат частью этой истории³.

В статье «Миф о языковых универсалиях», опубликованной чуть более десятилетия назад, лингвисты Ник Эванс и Стивен Левинсон приводят длинный список примеров, когда языковое разнообразие противоречит представлению о том, что в языках мира имеются вычлняемые универсалии. Многие лингвисты, которые провели немало времени, исследуя различные языки в далеких краях (включая меня), согласились с центральными утверждениями этой статьи, опубликованной в журнале *Behavioral and Brain Sciences*. Отсутствие языковых универсалий в некотором роде удивительно, с учетом того, что у всех человеческих популяций одна и та же базовая анатомия органов речи и мышления, сформировавшаяся до нашего переселения из Африки. Это

удивляет и потому, что язык выполняет сходные функции в разных популяциях. И тем не менее, хотя эти функциональные нужды действительно ведут ко многим сходствам форм языков, давление этих нужд недостаточно, чтобы создать истинные языковые универсалии. Более того, Эванс и Левинсон предположили, что главный вопрос, на который стоит попытаться ответить лингвистам: почему языки такие разные. Они отметили, что мы единственный вид, у которого коммуникативная система настолько варьирует среди популяционных групп. Бесчисленные исследования языков из разных семей и регионов убедительно свидетельствуют об этой глубокой вариативности, включающей что угодно — от глагольных времен, употребляемых в языке (см. главу 1), до базового порядка слов (см. главу 8) и, да, до обозначений снега (см. главу 5). Ни в одной книге невозможно описать все это разнообразие, но, прочитав эту, вы сможете лучше представить себе масштабы языкового и связанного с ним когнитивного разнообразия в мире⁴.

Лингвисты все еще осваиваются с тем, насколько невероятно разнообразны языки на нашей планете. Между тем психологи и другие исследователи яснее понимают вариативность мышления и поведения среди человеческих популяций. В другой знаменитой статье, опубликованной в *Behavioral and Brain Sciences* чуть более десяти лет назад, психологи Джозеф Генрих, Стивен Хайне и Ара Норензаян сделали важный вывод о нашем понимании человеческого мышления: практически всегда оно основано на исследованиях представителей западных, образованных, индустриальных, богатых и демократических обществ (WEIRD)*. Эти общества действительно странные на фоне большинства существующих или когда-либо существовавших чело-

* WEIRD (букв. 'странные') — western, educated, industrialized, rich, and democratic. — Прим. пер.

веческих обществ. Генрих и его коллеги предположили, что «представители WEIRD-обществ, включая малолетних детей, входят в число наименее репрезентативных популяций, на материале которых можно было бы делать обобщения о человеке». Это верно по целому ряду причин, включая колоссальное воздействие индустриализации и грамотности на социальную и материальную среду, в которой воспитывались многие из нас, WEIRD-людей¹.

Тот факт, что WEIRD-популяции слабо отражают все человечество, обусловлен также воздействием интенсивного школьного образования на те виды символического и математического мышления, которыми мы пользуемся с юных лет. В своей предыдущей книге, «Числа и формирование нас» (Numbers and the Making of Us), я рассказывал об исследованиях, свидетельствующих о том, что межкультурные различия человеческих практик счета гораздо серьезнее, чем предполагают многие. Та книга отчасти основывалась на моей собственной работе с аборигенными популяциями, применяющими совсем иные системы счета, чем те, которые знакомы большинству из нас. В этой книге я предположил, что многие человеческие популяции, существовавшие за время эволюции нашего вида, и безусловно те, что развивались до исхода наших предков из Африки около 100 000 лет назад, не сталкивались регулярно с математическими символами и словами. Наше понимание человеческой психологии в отношении таких вещей, как числовое мышление, опирается преимущественно на одну ветвь человеческих популяций, ветвь, которая едва ли репрезентативна для нашего вида как в современном, так и в историческом смысле. В конце концов, большинство крупных университетов и исследовательских центров располагают достаточно легким доступом к WEIRD-популяциям — в основном студентам. Это, возможно, одна из причин, по которым кросс-культурное разнообразие человеческого мышле-

ния, как и разнообразие языковое, недооценивается. Когда когнитивисты начали серьезно относиться к призыву изучать человеческое мышление по репрезентативным образцам популяций с разной историей, экологией и экономикой, масштаб человеческой когнитивной неоднородности стал более заметен. Эта заметность продолжает в настоящее время расти, как и осознание языкового разнообразия. Однако понимание глубокого языкового и когнитивного разнообразия недостаточно успешно распространилось в общественном сознании и даже в сознании многих ученых за пределами лингвистики и когнитивистики вообще. В этой книге освещаются важные идеи, которые были предложены когнитивистике, лингвистике и другим ключевым областям гуманитарных наук благодаря изучению множества разнообразных языков по всему миру, а не только языков WEIRD-народов⁶.

Здесь мне, вероятно, следует отметить, что я провел немалую часть своего детства в джунглях Амазонии. Этот детский опыт в конечном итоге и привел меня в область антропологии и лингвистики — меня завораживал спектр человеческого языкового и когнитивного разнообразия. Это стремление повело меня по пути исследований, опирающихся на различные методы. Некоторые наблюдения привели меня обратно к племенам Амазонии, и этот региональный фокус временами будет заметен. И все-таки эта книга посвящена открытиям языкового и лингвистического разнообразия, которые совершаются по всему миру, в первую очередь в культурах, не относящихся к WEIRD, но также и в WEIRD-культурах. Ряд открытий сделаны в ходе лабораторных экспериментов или компьютерного изучения новых баз данных, наполненных лингвистической информацией сотен и даже тысяч культур со всего мира. На собственные исследования, где задействованы подобные методы, наряду с более традиционной полевой лингвистической работой,

я буду ссылаться в книге по мере необходимости. Неудивительно, что в выборе тем, затронутых в этой книге, наблюдается некоторая субъективность, поскольку я провожу анализ по ряду вопросов, о которых идет речь. Тем не менее я постарался не уделять слишком много внимания работам какого-либо одного исследователя (включая себя), чтобы продемонстрировать массу увлекательных экспериментов мирового языкового разнообразия, которые проводят многие специалисты, зачастую новыми методами. Эти профессионалы меняют наше понимание не только того, как работает язык, но и как думают и ведут себя люди во время разговора. Стоит также отметить, что растет и разнообразие самих ученых, что, несомненно, вносит вклад в расширение охвата и качества исследований, о которых рассказывается в этой книге⁷.

В отличие от основной массы лингвистических исследований, проводившихся в XX в., современное изучение языка все чаще становится коллективным процессом и по возможности нацеленным на воспроизводимость. Вместо размышлений отдельных лингвистов и философов из знаменитых университетов данные и методы занимают свое законное место в центре дискуссий по языкознанию. Это еще одна причина, по которой в этой книге внимание не сосредоточено на каком-либо отдельном ученом или группе ученых, хотя работы некоторых будут упоминаться неоднократно. Эта книга сопричастна общему сдвигу в сторону коллективных и воспроизводимых усилий, который как минимум отчасти обусловлен более тесной интеграцией языкознания с другими областями. Однако ростом интеграции исследований языкового поведения с изучением других форм человеческого поведения мы обязаны не просто большему вниманию к методам и данным. Многие языковеды начинают осознавать, что для истинного понимания языка и связанного с ним мышления мы просто

должны опираться на сведения о других аспектах человеческого поведения. В конце XX в. был оживленный период, когда лингвистика стремилась отделить язык от внеязыковых аспектов культуры и от других когнитивных процессов, но лингвисты все чаще признают, что эти явления неразделимы. Например, в главе 1 мы увидим, что невозможно понять, как в некоторых культурах люди говорят и думают о времени, не поняв, как они жестикулируют на эту тему. В главе 6 мы узнаем, как на структуру языков влияет социальная среда, в которой они развиваются. Ввиду этой растущей интеграции воззрений на языковое поведение в книге я буду часто выходить за пределы строго лингвистического, поскольку, в общем-то, строго лингвистического не так много. Например, в главе 4 мы рассмотрим, как взаимодействие определенного образа жизни с определенной средой способствует формированию терминологии для обозначения цветов и запахов, которая, в свою очередь, может повлиять на восприятие людьми зрительных и обонятельных стимулов. Растущее признание единства языкового и внеязыкового мышления и поведения означает, что тем из нас, кто занимается языковым поведением, приходится знакомиться с другими дисциплинами. В собственных исследованиях я все больше опираюсь на наработки таких дисциплин, как когнитивная психология, анализ данных и респираторная медицина, и порой захожу в эти области. Среди тех, с кем я в настоящее время сотрудничаю, — биологи, химики, политологи и инженеры. В этом отношении я не уникален: все больше лингвистов обращаются к междисциплинарным методам и сотрудничеству, убеждаясь, что язык нельзя по-настоящему понять в изоляции. Более глубокое внимание к этим дисциплинам и сотрудничество с ними множества языковедов представляют собой еще одно сквозное свойство этой книги. Эту тенденцию хорошо иллюстрируют три примера междисциплинарности в моей

собственной работе. Мое исследование о числительных опирается на эксперименты, а также на компьютерный анализ числительных в тысячах языков. В другой работе я сотрудничаю с медицинскими специалистами и химиками, чтобы разобраться, как люди при разговоре производят микроскопические аэрозольные частицы и как эти частицы могут переносить патогены воздушно-капельным путем. В качестве последнего примера некоторые из моих наблюдений предполагают, что крайняя засушливость среды влияет на эволюцию языков, так как неумовимо воздействует на употребление определенных звуков. Это исследование, которое вызывает споры и будет отчасти обсуждаться в главе 5, опирается на предыдущие экспериментальные данные по биомедицине. Данные примеры из моих собственных экспериментов просто иллюстрируют, насколько языкознание потенциально значимо для данных широкого спектра дисциплин и насколько они на него влияют. Таким образом, хотя идеи, изложенные в этой книге, прямо или косвенно имеют отношение к языку, большинство из них примечательно тем, что они связаны также с другими аспектами человеческого мышления и поведения. В этом смысле моя книга не лингвистическая. Это книга о том, как изучение множества языков меняет наше представление о том, как думают люди, когда они говорят, а в некоторых случаях — как они думают, когда не говорят.

Хотя в этой книге рассматриваются достижения целого ряда академических дисциплин, большинство обсуждаемых в ней работ тем не менее так или иначе основаны на исследованиях полевых лингвистов, которые за последние десятилетия задокументировали бесчисленные неродственные языки. Во многих случаях эти специалисты привлекают внимание к интересным когнитивным явлениям, включая внеязыковые, просто потому, что проводят много времени, живя среди самых разнообразных народов по всему миру.

Чтобы изучать конкретный язык, часто приходится тратить много часов на то, чтобы слушать и записывать его. Возрастающий интерес лингвистов к изучению неродственных языков означает, что они проводят время с разными народами, которые — помимо того, что говорят на несхожих языках, — часто ведут иной образ жизни в разных условиях. Одним словом, все лингвистические данные последних нескольких десятилетий дают также более широкое осознание человеческого культурного и когнитивного разнообразия. Многие лингвисты возвращаются из экспедиций с описаниями того разнообразия, с которым имели дело во время полевой работы. Эти описания, порой бессистемные, часто служат тому, чтобы заманить других в далекие края исследовать с помощью лингвистов упомянутое поведенческое разнообразие. Так или иначе задокументированные лингвистические наблюдения в конечном итоге дают большой урожай результатов в области когнитивного и культурного разнообразия человечества, а не только языкового.

Эта книга сосредоточивает внимание на различных открытиях, которые прямо или косвенно дала полевая работа с представителями культур, не принадлежащих к WEIRD, но также обсуждаются некоторые исследования английского и других хорошо задокументированных языков. Более того, некоторые новейшие работы об английском опираются на изучение неродственных языков, что привело к новым открытиям в английском и других языках WEIRD-культур. В этой книге освещаются недавние ключевые открытия в разнообразных культурах, открытия, которые так или иначе связаны с ростом осознания того, что способы мышления и говорения более разнообразны, чем когда-то считалось. Я использую слово «недавние» в относительном смысле. Некоторые из обсуждаемых работ вышли несколько десятилетий назад, но вспомним, что люди изучают языки

уже тысячелетия. А многие результаты наблюдений, о которых идет речь в книге, опубликованы только в последнее десятилетие. Как уже отмечалось, эта книга не претендует на всеобъемлющее перечисление ключевых открытий в области речи, что потребовало бы многих томов. Вместо этого я предлагаю обзор некоторых особенно интересных находок, которые свидетельствуют о более широких тенденциях в лингвистических исследованиях, с акцентом на темах, упомянутых выше. В главах 1, 2 и 3 мы рассмотрим, как открытия, связанные с речью, меняют наше понимание человеческого мышления, ассоциированного со временем, пространством и взаимоотношениями. В главах 4, 5 и 6 мы обратимся к работам, которые указывают на взаимосвязь речи, мышления и среды, в которой говорят на определенном языке. Наконец, в главах 7 и 8 мы рассмотрим открытия, меняющие наше понимание того, как мы мыслим, порождая слова и предложения.

Как ни парадоксально, языковые открытия, о которых пойдет речь, появились на фоне текущего упадка мирового разнообразия языков и культур. По некоторым оценкам, нынешнее столетие переживут лишь 600 языков в мире, то есть менее 10%. Медианное количество носителей языка — всего около 10 000, и в мире существуют сотни языков, на которых говорит не больше, а то и меньше, 100 носителей. Подобные цифры свидетельствуют о нынешнем вымирании языков, которое происходит, когда молодые носители языков немногочисленных народов переходят на главенствующие, более полезные экономически языки, например английский. Осознание этого процесса вымирания заставляет многих ученых исследовать исчезающие языки, пока они еще существуют. Многие из этих языков бесписьменные и не задокументированы, что делает их изучение неотложной задачей для полевых лингвистов. Массовое вымирание продолжается по большей части беспрепятственно, в силу

набора социально-экономических факторов, на которые не способны повлиять усилия по сохранению языков, при всех благих намерениях. Таким образом, мы находимся на захватывающей стадии жизни нашего вида — эфемерном перекрестке, который большинство не замечает. Мы стоим на пересечении двух траекторий: роста признания когнитивного и языкового разнообразия среди человеческих популяций и неуклонного снижения того самого языкового разнообразия, которое привело к этому осознанию. К несчастью, неотвратимое исчезновение большинства языков, по всем данным, — единовременный отлив, который гораздо мощнее, чем любые усилия ему противостоять. Хотя труды полевых лингвистов, безусловно, не способны удержать на месте уходящую воду, они служат тому, чтобы добывать из этих вод невероятные образцы, показывать их другим и вместе восхищаться. В этой книге мы рассмотрим некоторые из этих образцов и покажем, какую важную роль они играют в нашем понимании того, как действительно говорят и думают люди⁸.

Сколько бы ни было на самом деле обозначений снега у эскимосов, мне в это снежное утро становится ясно, что у меня их не так много. Я выхожу из кофейни и быстро направляюсь в свое следующее укрытие, подземное, чтобы сесть в метро. Свежевыпавшие снежинки отчетливо хрустят под ногами. Но слово «снежинки» не очень-то подходит теперь, когда снег скопился на тротуаре. Сделав еще шаг против победного бурана, я заключаю, что снег, по которому я иду, по-видимому, больше не *qana*. Полагаю, теперь он *aput*.



1

Будущее позади вас

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ. Эти домены времени выглядят столь фундаментальными для жизни, чуть ли не осязаемыми, по крайней мере когда мы становимся взрослыми. В детстве мы начинаем понимать, что три этих основных компонента временной последовательности отражаются в языке, на котором мы говорим, и что глаголы принимают различные формы в зависимости от того, когда происходит действие. Мы узнаем, что высказывания типа *I jumped* ‘я прыгнул’ делаются тогда, когда действие произошло в прошлом. То есть мы узнаем, что суффикс *-ed* добавляется к глаголам, чтобы сообщить слушателю, что нечто уже случилось. Англоговорящему ребенку приходится также усвоить, что, отсылая к будущему прыжку, он должен сказать что-то вроде *I will jump*, или чаще *I’ll jump*, или *Ima*

jump. Эти условности представляют собой серьезную проблему для ребенка или взрослого, обучающегося английскому; непросто научиться регулярно передавать прошедшее, настоящее или будущее время событий. Еще больше осложняет дело то, что обучающиеся английскому должны уяснить, что эти глагольные маркеры времени часто меняют глагол «не по правилам». Им приходится запоминать, например, что прошедшее время от глагола *eat* ‘есть’ — *ate*. Как нередко бывает с опытом изучения языков, эти особенности порой могут сводить с ума.

Подобные особенности на лексическом уровне, возможно, заслоняют более фундаментальное знание о грамматическом времени, которое мы приобретаем, становясь носителями языка. Мы понимаем, что существуют прошедшее, настоящее и будущее. Когда мы осваиваем английский в детстве, предполагается, что мы также узнаем, что эти конкретные временные категории вообще существуют, что они чуть ли не осязаемы или по крайней мере что это базовые категории, к которым нам следует апеллировать по умолчанию, поскольку так устроено время. Наш язык способствует овеществлению этих абстрактных категорий времени. В конце концов, прошлое, настоящее и будущее — размытые понятия, не воспринимаемые конкретно, так, как, например, вы воспринимаете физическое пространство вокруг своего тела. Вы не можете вернуться в прошлое или доказать его существование, протянув руку и коснувшись его, в отличие от объекта вашей физической среды. А будущее, по существу, никогда и не наступает. Между тем настоящее неуловимо, так как любой осознаваемый нами момент оказывается в прошлом к тому времени, когда мы его осознаем. Тем, что категории прошлого, настоящего и будущего кажутся нам естественными, мы во многом обязаны языку. В этой главе мы убедимся, что некоторые аспекты времени, воспринимаемые нами, носи-

телями английского, столь «естественно», могут показаться неестественными носителям других языков. Это не означает, что мы действительно переживаем время уникальным образом. Но лингвистические данные предполагают, что мы концептуально членим время определенными способами под влиянием языка, на котором говорим, и что говорящие на других языках, если они хотят полноценно овладеть ими, должны научиться воспринимать другие временные категории — не обязательно прошлое, настоящее и будущее — как базовые. В этой главе речь пойдет о нескольких способах, которыми, согласно различным направлениям исследований, языки отражают и потенциально влияют на то, как по-разному люди думают о времени.

Время физическое и грамматическое*

Начнем с категории времени. Услышав вопрос, почему в английском три грамматических времени, некоторые из моих студентов теряются. Вопрос выглядит нелепым. С их точки зрения, в английском три времени, поскольку их и в реальности три. Английская грамматика указывает на прошлое, настоящее и будущее, потому что так устроено мироздание. На самом деле, однако, существуют другие способы грамматического обозначения времени, и можно утверждать, что прошлое, настоящее и будущее выглядят естественными доменами нашей жизни именно потому, что мы говорим на языке, который членил время по этим параметрам. Поэтому истинная причинно-следственная связь может быть диаметрально противоположна общеприня-

* В английском языке различают физическое время (time) и время как грамматическую категорию (tense). — *Прим. пер.*

той — может быть, нашим языком ограничивается наш заданный по умолчанию способ называть время, а возможно, даже мыслить о нем, и вовсе не собственные свойства времени ограничивают наш способ говорить о нем. Опять же, я не предполагаю, что люди на земном шаре физически переживают время заметно разными способами. Утверждение, которое я выдвигаю и которое выдвигали до меня, не столь радикально, но все еще потенциально контринтуитивно: то, как мы говорим о времени в качестве носителей языка, влияет на наше заданное по умолчанию мысленное описание того, как устроено время. Если это утверждение верно — то есть если некая грамматическая характеристика английского влияет на то, как мы концептуализируем временную последовательность, или по крайней мере диктует, как нам говорить о времени, — нам следует ожидать, что не все языки делят время на прошедшее, настоящее и будущее. В действительности многие языки мира не требуют от говорящих отсылать к этим категориям. Прошедшее, настоящее и будущее на самом деле не являются временными категориями в грамматиках многих языков мира, как мы увидим на примере языка, в отношении которого я занимался полевыми исследованиями.

Многое из того, что мы узнали о языках за последние десятилетия, основывается на исследованиях коренных народов по всему миру. Современная лингвистическая полевая работа состоит из разнообразных задач, которые потенциально включают проведение базовых экспериментов и анализ акустических данных для выявления количественных закономерностей. Но в методы подобной работы все еще входят как будто бы очевидные, но обманчиво сложные традиционные подходы — например, сидя вместе с носителем того или иного языка, на котором говорят в отдаленном уголке каких-нибудь джунглей, задавать ему вопросы. В идеале эти вопросы опираются на годы

предыдущего изучения лингвистом — в университетских аудиториях и в библиотеках — явлений, заметных во всех языках мира. Таким образом, полевая работа нередко требует простого общения с людьми и записи их речи в отдаленных местностях. Основная часть моей полевой работы проделана на материале языка каритиана (Karitiâna), на котором говорит группа людей в южной части Амазонии. Этот увлекательный язык уже изучался другими исследователями до меня и продолжает изучаться ныне. Около двух лет в середине нулевых, когда я писал диссертацию, мне приходилось работать с носителями языка каритиана, чтобы лучше разобраться в хитросплетениях языка. Иногда полевая работа заключалась лишь в том, что я сидел напротив этих носителей в душной атмосфере Амазонии и задавал им вопросы¹.

Хотя данная конкретная задача может показаться простой, она также психически истощает. Полевые лингвисты практически единодушны в том, что этот вид исследований утомителен, хотя и приносит моральное удовлетворение. Если вы когда-либо пытались учить другой язык во взрослом возрасте, то знаете, как это бывает трудно, даже при наличии в вашем распоряжении книг, примеров на YouTube, текстов ChatGPT и прочих всевозможных полезных инструментов. Это так же непросто и в том случае, когда вы изучаете язык, близкий вашему родному, например, когда носитель английского осваивает немецкий. Описание и освоение неродственного языка без подобных инструментов может стать испытанием. В моем случае мне принесли огромную пользу работы лингвистов-предшественников, в особенности миссионеров, задокументировавших некоторые аспекты языка каритиана. И все же я часто ощущал себя сбитым с толку, словно пытался расшифровать некий код в условиях тропической жары, в окружении полчищ насекомых и других отвлекающих факторов.

Подобная полевая работа может также приводить к моментам просветления, когда вы чувствуете, что взломали код и достигли некоего озарения, которое может оказаться полезным для дальнейшего понимания языка. Так и получилось, когда я стал лучше воспринимать способы обозначения времени в языке каритиана, которые в некоторых отношениях «нетипичны» или не распространены в других языках мира. В частности, незначительная нетипичность языка каритиана в описании времени проявляется в том, как используются в нем грамматические времена, которые мы обычно представляем себе в виде «прошедшего, настоящего и будущего». Возьмем, к примеру, способ прощания на каритиана, когда употребляется выражение, которое буквально означает ‘я пойду’:

- (1) *ytakatat-i yn*
‘Я пойду’

Обратите внимание, что глагол в этом случае — *ytakatat*, означающий ‘я иду’. К глаголу присоединяется суффикс *-i*, означающий, что названное действие еще не совершилось. А вот фраза, которую используют, чтобы сказать ‘я пошел’:

- (2) *ytakatat yn*
‘Я пошел’

Как вы видите, здесь нет суффикса *-i*, добавляемого к глаголу. Поэтому можно предположить, что прошедшее время в каритиана обозначается отсутствием суффикса и это своего рода начальная форма. Отчасти так и есть, но объяснение рухнет, если взглянуть, как в этом языке говорят ‘я иду’:

- (3) *ytakatat yn*
‘Я иду’

Как мы видим, это предложение на каритиана ничем не отличается от 'я пошел'. Причем это не неправильный глагол — можно привести бесконечное множество подобных примеров. То, что мы видим в случае с глаголом «идти», просто иллюстрирует то, как работает базовая система времен в каритиана. Эта система различает события, происходящие в будущем, и те, которые произошли в прошлом либо происходят в настоящем. Таким образом, в плане терминологии каритиана не различает прошедшее и настоящее. Разумеется, его носители все-таки понимают, что одни события происходят сейчас, а другие имели место в прошлом, но, как и некоторые другие языки мира, каритиана использует бинарную систему времен: будущее и небудущее. Когда я перевожу английские (или португальские) предложения на каритиана, мне приходится втискивать три времени в два. И наоборот, когда носитель каритиана осваивает португальский (как они в большинстве своем и делают), ему приходится усвоить, что португальский разбивает одно из их времен, небудущее, на две категории — прошедшее и настоящее.

Суть здесь не в том, что язык каритиана странен. Хотя во многих языках имеется система из трех времен, как в английском, есть также языки с системой из двух времен; среди них есть и такие, которые противопоставляют «прошедшее/непрошедшее», а не «будущее/небудущее». Необычное ощущение от будущего и небудущего времен в каритиана, возможно, больше говорит о наших собственных ожиданиях того, как устроен язык, вследствие нашего знакомства с трехвременными языками наподобие английского, чем о самом языке каритиана. В целом наше восприятие особенностей неродственного языка неизбежно обусловлено спецификой языка или языков, на которых мы говорим хорошо, — факт, о котором полевым лингвистам приходится помнить. В своих ожиданиях особенностей

любого языка мы стремимся опираться на то, что знаем о языке намного в более широком смысле, а не на свой родной язык. В конце концов, родным языком полевых исследователей обычно является индоевропейский язык WEIRD-народов.

Не все языки используют только два или три различных времени. В некоторых грамматическое время отсутствует, в других — времен больше трех. Рассмотрим другие варианты в этом многообразии. В китайском языке (пекинском диалекте) обычно отсутствуют приставки и суффиксы, поэтому технически глаголы не изменяются по временам. Но в китайском есть другие слова, потенциально обозначающие время. Более удачные примеры безвременных языков — юкатекский майя, бирманский, парагвайский гуарани (отдаленно родственный каритиана) и некоторые другие. Вот образец предложения из юкатекского майя, не имеющего времен, как показывает неоднозначность его английского перевода:

- (4) *túumben lenaho'*
 'Дом был / есть / будет новый'

Здесь глагол, служащий сказуемым, *túumben*, означает 'быть новым' и ставится в начале предложения — в обратном порядке по сравнению с английским переводом. Ключевой пункт здесь в том, что это майяское предложение не меняется: это не зависит от того, был ли данный дом когда-то новым, является новым только сейчас или будет новым в будущем. Это типично для безвременного языка².

На другом конце временного спектра находятся языки, где времен больше трех. Возможно, самый крайний случай — амазонский язык ягуа с восемью временами. Пять из них связаны с тонким членением прошедшего. Имеется «отдаленное прошедшее» время, еще одно время для обо-